

Марина Цветаева

"Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в это же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: "Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя". Состояние было небольшое: всего только двадцать тысяч. С этих-то двадцати старушковых тысяч и началось музей". Вот в точности, слово в слово, постоянно, с детства мною слышанный рассказ моего отца, Ивана Владимировича Цветаева о происхождении Музея изящных искусств имени императора Александра III.

Но мечта о музее началась раньше, намного раньше, в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы, Шуйского уезда, Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, двадцатишестилетним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь: в эту секунду создалось решение к бытию такого музея, мечта о музее началась, конечно, до Рима — еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. "Вот бы глазами взглянуть!" Позже же, узрев: "Вот бы другие (такие же, как он, босоногие и "лучинные") могли глазами взглянуть!"

Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожидная. Год рождения моего отца — 1846.

...Первое мое видение музея — леса. По лесам, — как птицы по жердям, как козы по уступам, в полной свободе, высоте, пустоте, в полном сне... "Да не скажи же ты так! Осторожней, коза!" Эту "козу" прошу запомнить, ибо она промелькнет и в моем последнем видении музея.

Мы с Асей впереди, взрослые — отец, мать, архитектор Клейн, еще какие-то господа следом. Спокойно-радостный повествующий голос отца: "Здесь будет это, тут встанет то-то, отсюда — туда-то..." (Это "то-то", "туда-то" — где это отец все видит? А как ясно видит, даже рукой показываешь!). Внизу сквозь переплеты перекладин — черная земля, вверх, сквозь те же переплеты — голубое небо. Кажется, отсюда так легко упасть наверх, как вниз. Музейные леса. Мой первый отрыв от земли.

А вот другое видение. В дворе будущего музея, в самый мороз, веселые черноокие люди перекачивают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на р, крупную

и громкую, как тот же мрамор. "А это итальянцы, они приехали из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: "Доброе утро, как поживаете?". В ответ на привет — зубы, белей всех сахаров и мраморов, в живой оправе благодарнейшей из улыбок. Годы (хочется сказать столетия) спустя, читая на листке почтовой бумаги посвященную мне

завтраков, — опять всякие пуляры и устрицы... Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну, зачем мне, сыну сельского священника — устрицы? А заставляет, злодей, заставляет! "Нет, уж, голубчик вы мой, соблаговолите!" Он, может быть, думает, что я — стесняюсь, что ли? Да какое стесняюсь, когда сердце разрывается от жало-

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ

О. Мандельштамом "Флоренцию в Москве") я не вспомнила, а увидела тех итальянских каменщиков на Волхонке.

Слово "музей" мы, дети, неизменно слышали в окружении имен: великий князь Сергей Александрович, Нечаев-Мальцев, Роман Иванович Клейн и еще Гусев-Хрустальный. Первое понятно, ибо великий князь был покровителем искусств, архитектор Клейн понятно тоже (он же строил Драгомиловский мост через Москва-реку), но Нечаева-Мальцева и Гусева-Хрустального нужно объяснить. Нечаев-Мальцев был крупнейший хрустализаводчик в городе Гусеве, потому и ставшем

сти: ведь на эту сторублевку — что можно для музея сделать! Из-за каждой дверной задвижки торгуется — что, да зачем — а на чрево свое, на этих негодных устриц ста рублей не жалест.

С течением времени принципом моего отца с Нечаевым-Мальцевым стало — ставить его перед готовым фактом, то есть счетом. Расчет был верный: счет — надо платить, предложение — нужно отказывать. Счет для делового человека — судьба. Счет — рок. Просьба — полная свобода воли и даже простор своей воле. Все расстояние от: "Нельзя же не" до: "Раз можно не". Это мой отец, самый непрактичный из деловых

Давно и вяло ведется в МОСХе разговор о создании Музея московских художников. Публикуя очерк Марины Цветаевой и статью С. Аристов, газета делает попытку разбудить инициативу. Живые примеры прошлого показывают, что это возможно. Конечно, если есть желание и воля. Хочется верить, что эта публикация подвигнет к поступку отцов города, заставит предпринять практические шаги состоявшихся в коммиссии по культуре художников — депутатов Моссовета.

Хрустальным. Не знаю почему, по непосредственной ли любви к искусству или просто "для души" и даже для ее спасения (сознание неправды денег в русской душе невытравимо), — во всяком случае, под неустанным и страстным воздействием моего отца (можно сказать, что отец Мальцева обрабатывал, как те итальянцы — мрамор) Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря — единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец — духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: "Цветаев-Мальцев").

Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. "Телеграмма от Нечаева-Мальцева". "Завтракать с Нечаевым-Мальцевым".

— Что мне делать с Нечаевым-Мальцевым? — жаловался отец матери после каждого из таких

вых людей, учел. Так Нечаев-Мальцев кормил моего отца трюфелями, а отец Нечаева-Мальцева — счетами. И всегда к концу завтрака, под то самое насильное шабли. "Человек ему — свой счет, а я свой, свой..." — "И что же?" — "Ничего. Только помычал". Но когда мой отец, увлекшись и забывшись, собитый (конец завтрака и свершившийся факт заказа) опережал: "А хорошо бы нам, Юрий Степанович, выписать из-за границы..." — настороженный жертвователем, не дав договорить: "Не могу. Разорен. Рабочие... Что вы меня — вконец разорить хотите? Да это же какая-то прорва, наконец! Пусть государь дает, его же родителя — имени..." И чем меньше предполагалась затрата — тем окончательнее отказывался жертвователем. Так, некоторых пустяков он по старческому и миллионщицкому упорству не утерпел никогда. Но когда в 1905 году его заводы стали, тем нанося

несметные убытки, он ни рубля не урезал у музея. Нечаев-Мальцев на музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно. Музей Александра III есть четырнадцатилетний бессребренный труд моего отца

и три мальцевских, таких же бессребренных миллиона.

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку, и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести (с французом), строкой из поэта (с англичанином), каким-нибудь вопросом о детях и саде (с немцем) — той человеческой нотой в деловом питье, личной — в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар — ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождения во все и выхождения из всего — победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него. Так, от дверных ручек упирающегося жертвователя до завитков колонн, музей — весь стоит на женском участии. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня этого не скажет (ибо так глубоко не знает) — никто. Когда она в 1902 году заболела туберкулезом и выехала с младшим детьми за границу, то ее участие не только не ослабло, но еще усугубилось — всей силой тоски. Из Москвы то в генозское Нерви, то в Лозанну, то во Фрейбург шли подробные отчеты о каждом вершковом приросте ширящегося и высящегося музея. (Так родители, радуясь, отмечают рост ребенка на двери и в дневнике). И такие же из Нерви, Лозанны и т. д. любовные опросные листы. Когда позволяло здоровье, верней болезнью, она по поручению отца, ездила по старым городкам Германии, с которой был особенно связан мой отец, выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок, и улыбок. (А у де-

лового немца добиться улыбки...) Не забывали и мы с Асей нашего гигантского младшего брата. В каждом письме — то из Лозанны, то из Фрейбурга, после описания какой-нибудь прогулки по озеру или восхождения на очередной шварцвальдский холм, приписка, сначала, по малолетству, совсем глупая: "Как Вася? Как музей?" — но со временем и более просвещенные. К одиннадцати годам и я втянулась в работу, а именно, по летам, когда мы все съезжались, писала отцу его немецкие письма (отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пила и говоря, именно переводил с русского). Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете). Как сейчас помню "Гильдесгеймский серебряный клад". Зато какое сияние гордости, когда в ответном письме за каким-то № в конце приписка: "Передайте от меня привет Вашей милой и добросовестной дочурке".

Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (1913 г.).

Теперь расскажу о страшном его и матери, всех нас, горе, когда зимой 1904—1905 года сгорела часть коллекций музея (очевидно, та деревянная скульптура, которую заказывали в Германии). Мне кажется, это было на Рождество, потому что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задыхавшийся, захлебнувшийся голос, без слова, кажется: "А-ах!" И отцовское — она тогда была уже очень больна — умирающее, смиренное, бесконечно-разбитое: "Ничего. Даст бог. Как-нибудь". (Телеграмма, сгорая, была: музей горит). И его безмолвные слезы, от которых мы с Асей, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись.

Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими, видела она предсмертным оком.

Говоря о матери, не могу упомянуть ее отца, моего деда, Александра Даниловича Мейна, еще до старушковых тысяч, до клейновского плана, до всякой зримости и осознанности, в отцовскую мечту — поверившего, его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А. Д. Мейна, в Неопалимском переулке, на Москве-реке. Все они умерли, и я должна сказать.

Август 1933 г.